

Памятники Пушкину стоят в сорока странах мира. Он неофициально представляет русскую культуру на всех континентах земли. Такое не снилось ни одному профессиональному дипломату, будь он хоть самым Талейраном. А ведь за этим бронзовым, чугунным, гранитным явлением стоит ещё и Пушкин нерукотворный, который куда масштабней и выразительней.

А сколько ещё белых пятен в этой масштабности. Взять хотя бы его последнюю дуэль, причиной которой стало подмётное письмо. Оно ведь написано князем Долгоруковым, и у барьера должен бы стоять он. С Дантесом Пушкину вроде бы нечего делить. Всё-таки – свояки, женатые на родных сёстрах, нарожавших им детей, то есть двоюродных братьев и сестёр. Корифеи партийной прессы знали об этом. Как знали и признание самого Дантеса, сказавшего на склоне лет, что он имел всех женщин, каких хотел. За исключением одной, на которую пало подозрение. Этим признанием он засветил всю клевету подмётного письма.

Как же выглядит на этом фоне князь Долгоруков? Соучастник? Интриган? Клеветник? Но он же друг демократа Герцена, соратник декабристов. И нам со школьной скамьи вбивали: «Не он написал, не он. Это всё интриги Геккерена и его приёмного сына». Но ведь дважды проводилась экспертиза подчерка. И дважды подтвердила – написано рукой Долгорукова. Конечно, он, именно он, должен был стоять у смертного барьера. Хотя бы заочно, постфактум. Но «у советских собственная гордость...»

А как же дворянская честь? Впрочем, современники Пушкина не очень заблуждались и писали: «А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов...» Надменных потомков бесила царская милость к черномазому выскочке: и моральная, и материальная. Ну какой цензор мог бы пропустить в печать «Дубровского»? Помещик! Дворянин! А он как простой смерд сколотил ОПГ по нынешним меркам и наводил ужас на всю округу. Только Николай Первый мог пропустить в печать эту «крамолу». А из него целое столетие упорно лепили тирана, душителя Пушкина. Из него, лично прикрывавшего творчество поэта от усердия чиновников.

Кстати, уже в наше время на открытие памятника Пушкину в Париж приезжали потомки Дантеса из Эльзаса. Родственный поклон или почтение великому поэту? Впрочем, одно другому не мешает. С истории надо время от времени снимать политическую паутину, чтобы увидеть истинную глубину жизни и эпохи.

А какая она суетная, беспокойная эта жизнь у Пушкина. Вознесённый на пьедестал, он не знает покоя до сих пор. Им вертят так и сяк ретивые политики и ушлые дельцы. Вертят как игрушкой, наживая общественный авторитет и дивиденды. Своего авторитета нет, спекулируй на чужом, проверенном. Как же – солнце нашей поэзии, наше всё! Присвоить бы и творческий багаж, как присвоили лампочку Лодыгина или библиотеку графа Румянцева: она, лампочка Лодыгина, стала лампочкой Ильича, а библиотека графа «Ленинкой».

Но тут не получится. Он, Пушкин, словно предчувствуя, заявил:

*Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,  
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
Тунгус, и друг степей калмык.*

Это трамваи могут ходить безмянно и лампочки гореть в Российской империи без Лодыгина, а с творчеством поэта не получится. Посему присвоили самого автора, обрядив его в якобинский лапсердак как подельника, борца с самодержавием. Это Пушкина-то, который и на смертном одре думал о государе. «Скажи ему, – попросил он Жуковского – что мне жаль умереть; был бы весь его».

Но и государь болел о нём. Вот его записка: «Если бог не велит нам более увидеться, прими моё прощенье, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански. О жене и детях не беспокойся. Я беру их на своё попечение».

Прощение – за дуэль: он ведь давал слово государю в дуэлях не участвовать.

Пушкин умер по-христиански. Карамзина попросил перекрестить его. Причастился. Всё в русле «Православие, Самодержавие, Народность». А народ толпами валил проститься с Пушкиным. Живым. Нерукотворным. Вот таков якобинец.

Но как же пушкинское «Властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг труда»? А никак. Это сказано в другое время, о другом государе, другим Пушкиным – юным, импульсивным, фрондёрствующим «афеизмом» и масонскими веяниями. Наполеоновские войны своим дыханьем опалили всё русское общество; в том числе и литературное, расколовшееся на славянофилов и западников.

Позднее, повзрослев, поэт скажет: «Он взял Париж, он основал лицей». И поднимет тост за Александра Первого. К Николаю Первому он испытывал даже чисто человеческое уважение. «Вместо надменного деспота, круто державного тирана, я увидел человека прекрасного, благородного лицом. Вместо грубых и язвительных слов угрозы и обиды я услышал снисходительный упрёк, выраженный участливо и благо-

склонно». Вот таков отзыв Пушкина о встрече с Государем после событий на Сенатской площади.

Нет, с истории надо чаще стирать паутину. Особенно если к ней прикасаются руки идеологических фанатов. Тем более, что фанаты приходят и уходят, а гении остаются в вечности. Живые. Нерукотворные. Несущие русскую культуру по странам и континентам.

## Дыханье вечности

\* \* \*

Стою на старте.

На земле стою.

Смотрю на небо восхищённым оком.

Ищу стезю вселенскую свою,

Давным-давно начертанную богом.

А он, Господь, на мёртвых и живых

Не делит нас.

И все мы живы, живы

И здесь, и там, в мирах уже иных,

Где нету ни корысти, ни наживы.

И я приду, когда-нибудь приду

Туда, где дышит вечностью обитель.

Я и сейчас у предков на виду,

Хотя прописан на другой орбите.

Пою осанну.

Господу пою,

Создавшему всё сущее на свете.

И, как на старте, на земле стою,

На голубой несущейся планете.

\* \* \*

Как таинство не видим и не слышим,  
От наших глаз ты, Господи, сокрыт.  
Яви свой лик и глас низвергни свыше  
На суетный, на меркантильный быт.  
И грянул глас.  
И молния, как росчерк,  
Легла на голубое полотно.  
Автографа доподлинней и бросче  
Не начертать.  
Не пробуй.  
Не дано.  
И вихря столб запеленал берёзу  
В тугую шелковистую листву.  
И крупные, горошинами, слёзы  
Упали на лицо и на траву.  
И понял я, что бог материален.  
Что осязаем, первороден бог.  
Как этот купол голубой реален  
И, словно вечность, истинно глубок.  
И пал я ниц в смиренье перед богом,  
И душу сокровенную открыл.  
И в тот же миг, ничтожный и убогий,  
Я ощутил дыханье его крыл.

\* \* \*

Поплыву на чьих-то плечах  
К недрам матери-земли.  
Будет утро или вечер.  
Будет зарево вдали.  
И душа, летая в небе,  
Бестелесная уже,

Будет видеть мир как небыль,  
Весь распахнутый душе.  
Он лежит, как на ладони,  
Сокровенность не тая.  
Светят окна в каждом доме,  
В каждом доме есть семья.  
С кошкой возится малышка.  
Улыбается отец.  
Мать стоит на кухне с плошкой:  
День закончен, наконец.  
Тихий вечер.  
Сытный ужин.  
Разговор о том, о сём.  
Телевизор есть к тому же,  
И достаток есть во всём.  
И душе моей уютно.  
Звёздный светится эфир.  
Засыпает многолюдный  
Городской и сельский мир.

\* \* \*

Клокочет мир.  
И грозы громяхают.  
Вот-вот ударит молния с небес.  
Земля ж томится, горькая, сухая.  
Изнемогает от удушья лес.  
А человек?  
Ему б пахать и сеять.  
И собирать богатый урожай.  
Ему бы Русь кормить свою – Рассею!  
Живи, родная, и детей рожай.

А Иоганн?

Ему бы тоже надо

Тянуть за бороздою борозду,

Дышать своею мирною прохладой

И любоваться на свою звезду.

А мсье француз?

А гордый англичанин?

А фермер из Техаса?

Что ж они?

Нужны им эти грозы и печали

И письма фронтовые от родни?

Мы божьи дети.

Мы его творенье.

Должны хранить достоинство его,

Нести в себе священное горенье,

Заложенное в душах божество.

И не грозить ближайшему соседу,

Не покушаться на чужой надел.

А пригласить на мирную беседу

И отдохнуть от горечи и дел.

\* \* \*

А ты слезу у сироты не вытер.

Убогому копейки не подал.

Не совершил в душе своей открытий,

Чтоб вознести к Творцу на пьедестал.

А он не пожалел такие клады,

Таких задатков в душу заложил,

Чтобы она благоухала садом,

И мир вокруг благоухал и жил.

Но где они, великие порывы,

Уроки состраданья и добра?

Твоя душа калитки не открыла,  
Той нищенке, что мёрзла у двора.  
Зачем она?  
Пускай бредёт с сумою,  
Не портит вид, ухоженный уют.  
Она слезой судьбу свою омоет  
И, может, встретит тех, что подают.

\* \* \*

Мне кажется, портреты улыбаются:  
Портреты моих близких на стене.  
И хочется беседовать, и каяться  
За всё, что не пришлось доделать мне.  
Как будто мог я дать им и не додал  
Уюта, коммунального тепла,  
Круизов на шикарных пароходах,  
Обильного домашнего стола.  
Увы, не мог.  
Теперь иное дело.  
Я кое-что умею и могу.  
Да только время быстро пролетело.  
И я здесь в неоплаченном долгу.

\* \* \*

Куда уходит время?  
Да, куда  
Уходят краски, звуки, ароматы?  
И красота не та уже, не та.  
А та исчезла, уплыла куда-то.  
Ни адреса, ни прочих позывных.  
Ни позвонить, ни попросить о встрече.  
А мне не надо радостей иных,



Вернуть бы тот, неповторимый, вечер.  
Но он ушёл куда-то в никуда.  
Истаял в неизвестности Вселенской.  
И лишь с хрестоматийного листа  
Онегину толкует что-то Ленский.

\* \* \*

Уходящие тени всё плывут и плывут.  
Уходящие тени смутно в сердце живут,  
Истончаются, тают, всё бледней становясь,  
И вот-вот оборвётся последняя связь.  
Я едва узнаю облик первой любви.  
Слишком он далеко: хоть зови, не зови.  
Уходящая тень.  
Уходящая жизнь.  
Ну, куда ты спешишь?  
Подожди, задержись.  
Расплывается, тает.  
Не слышит меня.  
А ведь столько в ней было когда-то огня.  
Негасимый огонь еле тлеет в ночи.  
Не дозваться его, хоть кричи не кричи.  
Уходящие тени всё плывут и плывут  
И, наверно, меня за собою зовут.

\* \* \*

Дефиска между датами – и всё.  
Год смерти, год рожденья – очень сухо.  
Для путника она – ни то, ни сё.  
А где судьба?  
А где величье духа?  
Но вот лежат привядшие цветы,

Распространяя аромат последний.  
И понимаешь неизбежность ты:  
Не зря приходят с этим даром летним.  
Кому-то дорог этот человек.  
Видать, поныне в сердце остаётся.  
Наверно, был достойным его век,  
Коль у живых любовно сердце бьётся.  
Я не знаком, не ведаю, кто он.  
Но с уваженьем голову склоняю.  
Прими и мой бесхитростный поклон:  
Чему-то научился у тебя я.

\* \* \*

Не старейте, старые актёры,  
Сохраняйтесь в жизни, как в кино,  
Будьте нашей юности опорой,  
И не пойте про «давным-давно...»  
Никаких «давно».  
Всё обок, рядом.  
«Муля, не нервируй» – в сотый раз  
Слушаю Раневскую с отрадой  
И с экрана не спускаю глаз.  
Красота Дорониной, Орловой,  
Гундаревой женственность и смех  
Пусть живут как вечная основа,  
Не тускнея в памяти у всех.  
Скажут – бред.  
А нам плевать на это.  
Мы несём их образы в душе,  
Не старея, как они, при этом,  
С ними породнённые уже.